
Ольга Березовская
Художница для сибирского дровосека

Ольга Березовская

Художница для сибирского дровосека

https://litres.ru/74790959
SelfPub; 2026

Аннотация

Лариса приехала в Малые Сосны отрабатывать распределение. Макар дал себе слово не привязываться к тем, кто точно скоро уедет. Но у лета свои законы. Август – время звездопадов, сенокоса и обещаний. А ещё именно в августе надо делать самый важный выбор в жизни.

Содержание

1	4
2	13
3	24
4	29
5	36
6	42
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Ольга Березовская
Художница для сибирского дровосека

1

POV: Лариса

Я покрутилась перед зеркалом в белом льняном платье. На выбор наряда ушло минут… Какая разница сколько? В галерее ведь всё равно темно. Да и глазеть народ будет совсем не на меня, а на инсталляцию Славы. Рыжий кот Персик развалился на кровати и следил за мной с видом скучающего критика. Это наглое животное свято верило, что вся вселенная вращается исключительно вокруг него.

– Ну и как тебе? – спросила я у кота, поворачиваясь перед зеркалом.

Персик зевнул. Критик был не впечатлён.

– Ладно, – вздохнула я. – Ты просто не разбираешься в современной моде.

Я чмокнула его в лоб, оставив на рыжей шерсти яркий след помады, и вышла из квартиры. Если бы я знала, что это был последний нормальный вечер в моей жизни, я бы, наверное, выпила больше. Или меньше. Или вообще не пошла

бы на этот вернисаж. Хотя нет, вру. Пошла бы. Потому что именно там мне предложили то, о чём я мечтала последние пять лет.

Галерея на «Винзаводе» встретила меня прохладой и запахом дорогих духов – ирис, табак, что-то древесное. Запах успеха. Запах денег. Запах мира, в котором я чувствовала себя как рыба в воде. Гости в тёмных нарядах, несмотря на июльскую жару, шампанское в пластиковых бокалах, тихие разговоры о концептуализме, постмодерне и о том, кто сколько продал на последнем аукционе.

Я взяла с подноса бокал просекко и огляделась. В центре зала возвышалась инсталляция – гора битого стекла и зеркал, подсвеченная холодным синим светом. Выглядело это так, будто кто-то разнёс вдребезги витрину ювелирного магазина, а потом решил, что это высокое искусство.

– Нравится? – раздался голос у меня за спиной.

Я обернулась. Марк – бывший однокурсник, ныне куратор галереи и по совместительству главный человек в моей профессиональной жизни. Марк был из тех людей, которые всегда выглядят так, будто только что сошли со страниц модного журнала: идеальная бородка, очки в тонкой оправе, пиджак, небрежно накинутый на плечи. Наверное, он даже спал в этом пиджаке.

– Это Слава расстарался, – сказал Марк, кивая на стеклянную гору. – Называет это «Хрупкость бытия». Я ему говорю: «Слава, это просто битое стекло, какого чёрта?» А он

мне: «Ты не понимаешь, это метафора».

– И ты ему поверил?

– Я поверил в то, что он это продаст. И знаешь – продал ведь. Немцам. За очень хорошие деньги.

Я присвистнула. Слава был неплохим художником, но «Хрупкость бытия» выглядела именно как битое стекло. Впрочем, кто я такая, чтобы осуждать? Я сама в прошлом году продала серию «Геометрия пустоты» – три белых холста с едва заметными серыми линиями. Покупатель сказал, что это медитативно. Я же сказала, что это моё видение исследования границ минимализма». На самом деле мне просто не хватило краски, а дедлайн поджимал. Но признаваться в этом я, конечно же, не собиралась.

– Кстати, – Марк взял меня под локоть и отвёл в угол, подальше от гостей. – Я хотел поговорить.

У меня внутри всё сжалось. Такой тон у Марка бывал, когда он собирался сообщить что-то важное. Обычно это «важное» касалось либо денег, либо сроков. Либо и того и другого одновременно.

– Твои эскизы видели, – сказал он, понизив голос. – Я показывал их Гюнтеру. Ты его не знаешь, но он из Берлинской биеннале.

– И? – сердце пропустило удар.

– И он сказал: «Привозите». Тебя ждут на осенней биеннале. Сентябрь – октябрь. Нужна серия. Шесть-восемь работ. Ты успеешь?

Берлин. Берлинская биеннале. Я мечтала об этом пять лет. С тех самых пор, как поняла, что быть просто художником в Москве недостаточно. Нужно быть художником, которого знают. Художником, которого выставляют. Художником, которого покупают не за три копейки, а за настоящие деньги. И вот оно – предложение, которое может изменить всю мою жизнь.

– Успею, – сказала я, и голос не дрогнул. – У меня уже есть идея. «Палимпсест». Наложение городских слоёв. Москва, которая прорастает сквозь старые культурные коды. Шесть холстов, смешанная техника.

– Значит, Берлин ждёт тебя, - Марк кивнул с таким видом, будто всё уже решено.

– За Берлин! - мы чокнулись бокалами.

Вечером мы сидели с подругами в баре на Патриарших, и я поделилась с ними новостью. Лера, моя лучшая подруга, прямо за столом купила мне билет до Берлина. Подарок на день рождения. На день рождения, который будет аж в октябре, но какая разница.

– С ума сошла? – я пыталась возражать, но Лера отмахнулась.

– Это инвестиция в будущее. Когда ты станешь знаменитой, я переманю тебя у Марка и стану твоим агентом. А пока я тебе куплю билет.

Жизнь была прекрасна. Я была на пороге всего, о чём мечтала. Если бы я только знала, что ждёт меня на следующее

утро.

Утро началось с похмелья и кота, сидящего на моей подушке. Персик смотрел с таким осуждением, что я всерьёз задумалась: не нанять ли ему личного психотерапевта? В конце концов, жить с вечно разочарованным котом – это серьёзное испытание для нервной системы.

– Доброе утро, – прохрипела я.

Персик моргнул. Медленно. Как следователь, который знает, что подозреваемый врёт. Голова гудела. Во рту было отвратительно. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь жалюзи, бил по глазам и по жестокости не сильно отличался от допросной лампы. Я кое-как доползла до кухни, чтобы сварить кофе. Под чёрный, крепкий, спасительный напиток я решила проверить почту. Всегда так делала по утрам: удаляла спам, отвечала на пару-тройку писем. Но сегодня было любопытно, не прислал ли Марк что-нибудь про Берлин.

Под ноутбуком обнаружился бумажный конверт с настоящим письмом. Я нахмурилась. Откуда у меня бумажное письмо? Я достала его вчера из почтового ящика и машинально, не глядя, сунула под ноут – не до того было. А теперь прочитала обратный адрес.

Министерство просвещения Российской Федерации. Внутри похолодело. Я вскрыла конверт и вытащила лист с казённым текстом.

«Уважаемая Лариса Андреевна Ветрова! Напоминаем,

что согласно договору о целевом обучении, Вы обязаны отработать три года по направлению Министерства просвещения в образовательном учреждении, указанном в приложении...»

Дальше шёл адрес. Малые Сосны. Средняя общеобразовательная школа. Должность: учитель ИЗО и черчения. Срок: три года. В случае отказа – возмещение полной стоимости обучения: два миллиона четыреста тысяч рублей.

Я перечитала трижды. Потом отложила письмо. Допила кофе. Снова взяла. Смысл письма не изменился буквы никуда не делись. Господи, где ж эти Малые Сосны находятся-то? Забила точный адрес в поисковик и тихонько прозрела. Сибирь! Вот там меня ещё не было.

Целевое направление. Шесть лет назад моя мама, юрист до мозга костей, сказала: «Это подстраховка. Если не пройдёшь на общий конкурс – будешь учиться по целевому. А потом разберёмся». Я не прошла на общий конкурс. Не хватило одного несчастного балла. Но мы не разобрались.

Я схватила телефон. Мама ответила после третьего гудка.

– Алло? Лариса? Что-то случилось?

– Мам, ты помнишь целевой договор?

Повисла пауза. Долгая. Слишком долгая. Даже пугающая.

– Помню, – сказала мама.

Голос звучал спокойно, но я слишком хорошо её знала. Она уже прокручивала в голове варианты. И ни один из них, судя по тону, не был в мою пользу.

– Мне пришло письмо. Меня отправляют в Сибирь. В какую-то деревню. Учителем ИЗО. На три года.

– Я предупреждала тебя, когда ты подавала документы.

– Мам, мне было семнадцать! Я не понимала, что подписываю!

– В семнадцать лет человек уже способен читать то, что подписывает.

Я задохнулась от возмущения. В трубке повисла тишина, а потом мама вздохнула – так, как вздыхают люди, которые уже приняли решение и не собираются его менять.

– Я не могу тебе помочь. Неустойка – два с половиной миллиона. Таких денег у меня нет. И у тебя нет. Так что...

– И что мне теперь делать?!

– Ехать. Отрабатывать. Три года – это не пожизненное заключение. Переживёшь.

Переживёшь. Моя мама, которая всегда говорила, что я рождена для великих свершений, только что сказала мне «переживёшь» и повесила трубку. Это вообще как?

Я сидела на полу кухни, сжимая телефон, и чувствовала, как мир рушится. Персик подошёл и ткнулся носом в пальцы. Непонятно, правда, он сочувствовал или требовал корма.

Я набрала Марка.

– Лариса? Ты чего звонишь в такую рань? После вчерашнего я думал, ты до вечера спишь.

– Марк, у меня проблемы.

И я рассказала ему всё. Про письмо, про договор, про три года в сибирской деревне. Когда я закончила, в трубке было тихо. Так тихо, что я проверила, не сбросился ли звонок.

– Марк?

– Я здесь. – голос его звучал жёстко, по деловому и совсем не по дружески. – Лариса, биеннале – это сентябрь. Если ты в августе уедешь в Сибирь, я не смогу ждать.

– Что значит «не смогу»?! Перенеси! Я приеду!

– Ты не понимаешь. Гюнтер дал добро на тебя. Если ты не прилетишь – он возьмёт другого художника. Это не я решаю. Это рынок.

– Марк...

– Прости. Если надумаешь что-то – напиши.

Он отключился. Я осталась сидеть на полу с телефоном в руке и ощущением, что меня только что переехал грузовик. Вчерашний прекрасный мир разбился вдребезги. Как та самая инсталляция Славы. «Хрупкость бытия». Интересно, Слава имел в виду именно это?

Я обзвонила ещё троих. «Не, Лариса, тут система автоматическая, никто не поможет» - ответил знакомый из Минкульта. «Я бы рад, но у меня доступа нет к целевым договорам» - ответил друг, учившийся на пару курсов старше и работающий в Министерстве образования. Ещё кого-то. Везде был отказ. Сумма неустойки была космической, договор – вполне себе реальным. А я, спустя шесть лет, оказалась в ловушке.

Отец уже несколько лет живёт в другой семье. Все адвокатские гонорары матери уходили на ипотеку и лечение бабушки. Они отказались помогать. Я не обижалась. Ну, почти не обижалась. Ладно, вру. Обижалась так, что хотелось швырнуть телефон в стену.

Вечером я сидела на полу, окружённая бумагами. Письмо из министерства, копия договора, распечатки из интернета: «Как оспорить целевое направление», «Судебная практика по делам о...» Бесполезно. Всё бесполезно.

Я открыла ноутбук. Нашла письмо с билетом в Берлин – вчерашний подарок Леры. Долго смотрела на кнопку «отменить». Потом нажала. Страница обновилась моментально. Билета больше не было.

Вместо него я открыла сайт РЖД и купила билет до Новосибирска. Поезд. Плацкарт – на купе уже не хватило денег, а занимать у подруг я не хотела. Отправление через три дня.

Когда подтверждение заказа упало на почту, я закрыла ноутбук и заплакала. Персик лизнул меня в щёку. Коты не любят, когда хозяева плачут, у них от этого шерсть мокнет.

2

POV: Лариса

Поезд тронулся в полночь. Я стояла у окна в коридоре вагона и смотрела, как уплывают назад огни Москвы. Они мерцали в темноте – сначала часто, потом всё реже. Потом совсем растворились за горизонтом. В вагоне пахло шпалами, дешёвым чаем из подстаканников и чьими-то носками. Где-то храпел сосед, где-то плакал ребёнок. Я прислонилась лбом к холодному стеклу и закрыла глаза.

Три дня прошли как в тумане. Я ещё делала попытки спасти ситуацию, но никто не помог. Я собрала два чемодана. В одном – одежда и обувь. Даже зачем-то взяла белый сарафан и модные босоножки. Не может же женщина ехать куда-то без красивых нарядов! Пусть даже и в Сибирь. В другой сложила все художественные принадлежности. Альбомы, карандаши, кисти, краски. Всё, что могло понадобиться. Планшет с закачанными лекциями по искусству, которые я планировала пересмотреть на досуге. Ах да, ещё репеллент. Мне сказали, что в Сибири слишком агрессивные комары. Я не поверила, но купила на всякий случай.

Подруги устроили прощальный ужин. Те же три девушки, тот же бар на Патриарших. Только теперь я не смеялась, а молча пила, и подруги смотрели на меня с сочувствием, от которого хотелось лезть на стену. Лера пыталась шутить:

«Найдёшь себе сибирского дровосека, как героиня любовного романа». Я выдавила из себя улыбку.

Я не хотела дровосека. Я хотела Берлин.

Персика пришлось отдать Лере – на три года. Три года. Когда я прощалась с котом, он смотрел на меня так, будто понимал: происходит что-то не то. Хозяйка не должна уезжать. Хозяйка должна сидеть дома, гладить кота и рисовать свои «Геометрии пустоты». Я поцеловала его в лоб, оставив на шерсти след помады и быстро вышла из квартиры, чтобы не разреветься при соседях.

Теперь Персик был в Москве, а я – в поезде, который уносил меня всё дальше и дальше. За окном проплывали поля, перелески, редкие огоньки деревень.

На третий день пути я проснулась оттого, что поезд стоял. Перрон. Табличка «Новосибирск-главный». Приехали.

Дальше надо было ехать на автобусе до районного центра. А потом уже местный рейс до Малых Сосен. Я нашла из автобуса и оглянулась в поисках остановки. Нашла только продуваемый всеми ветрами навес с покосившейся скамейкой. Спросила у какой-то бабушки, где нужный мне транспорт.

– До Сосен? – бабушка оглядела меня с ног до головы с таким видом, будто я спросила, где тут ближайший выход на Марс. – Это тебе вон тот, синий. Отправляется через час.

Синий автобус оказался ПАЗиком неопределённого года выпуска, с треснувшим лобовым стеклом и запахом бензина в салоне. Половину мест занимали бабушки с вёдрами пол-

ными незнакомых мне ягод. У нас в магазинах я таких не видела. Ещё сидел мужик с удочками в брезентовом чехле, девушка с корзиной грибов и мальчик лет десяти, который всю дорогу ковырялся в телефоне.

На меня уставились все. Белый сарафан. Босоножки. Чемоданы на колёсиках. Я выглядела как инопланетянин, который случайно приземлился не на той планете и теперь пытается сделать вид, что так и было задумано.

– Вы это... откель будете? – спросила одна из бабушек. У неё было обветренное лицо и руки, похожие на корни старой яблони.

– Из Москвы, – сказала я, и это прозвучало как признание вины.

Бабушки переглянулись и замолчали. Я села у окна, прижав чемодан к ногам, и приготовилась к худшему.

Автобус трясся по грунтовой дороге, поднимая клубы пыли. За окном проплывали огромные сосны, уходящие в небо, берёзы, покосившиеся указатели с названиями деревень, которых я никогда не слышала. Иногда лес расступался, и становились видны поля: жёлтые от сурепки, зелёные от овса, синие от васильков. Красиво. Если бы не духота, не тряска и не комары, которые залетали в открытые окна и с энтузиазмом знакомились с московской кровью, я, может быть, даже получила бы удовольствие.

Но комары были. И духота была. И автобус трясся так, что я несколько раз прикусила язык. Через два с половиной часа

автобус затормозил у таблички «Малые Сосны». Водитель обернулся и объявил:

– Конечная. Кому тут – выходим.

– Кому тут – выходим, – пробормотала я. – Как будто у меня есть выбор.

Я выбралась из автобуса. И замерла.

Жара. Плюс тридцать, не меньше. Она ударила в лицо – плотная, влажная, густая. Грунтовая дорога уходила вдаль, теряясь в облаке пыли, поднятой колёсами автобуса. Вдоль дороги тянулись покосившиеся заборы, за ними – огороды и палисадники с георгинами. Куры в тени лопухов рылись в земле, лениво кудахтая. В воздухе висели облака мошкары, и первая же мошка, оценив гастрономический потенциал приезжей, впилась мне в щёку. Я хлопнула по лицу ладонью, но было поздно.

Пахло разогретой хвоей, пылью и полевыми цветами. Стрекот кузнечиков стоял такой плотный, что заглушал даже урчание отъезжающего автобуса. Я стояла на краю дороги с двумя чемоданами, в белом сарафане и босоножках, и чувствовала себя последней дурой на планете. Нет, во всей Вселенной.

У ближайшего штакетника стояла женщина. Крупная. Нет, не толстая, а именно крупная, как бывают сибирские женщины после сорока: широкие плечи, крепкие руки, осанка человека, который десять лет борется с районным отделом образования и всегда побеждает. Седые волосы собраны

под косынку. Лицо обветренное, но глаза – живые, цепкие, с хитринкой. В одной руке она держала ведро, полное чёрной смородины.

– Ветрова? – спросила она голосом, который перекрыл бы, наверное, тракторный гул. – Ну наконец-то. А то мы уж думали, не доедешь.

– Я... да. Ветрова. Лариса Андреевна. Вы, наверное, Валентина Степановна?

– Она самая. Директор школы. Пошли за мной.

Валентина Степановна оглядела меня с ног до головы. Оглядела цепко, оценивающе. Как бойца перед выходом на ринг, который пока не знает, что его ждёт нокаут в первом раунде.

– Сарафан хорош, – сказала она. – Но в нём тут только на речку купаться. У нас, знаешь ли, не Третьяковка. Босоножки свои угробишь за день. В сельпо резиновые сапоги есть и галоши. Бери. И смородину ешь – нынче сладкая, как мёд.

Она сунула мне горсть смородины из мозолистой руки. Ягоды были тёплые от солнца, и я, сама не ожидая от себя такого, взяла и съела. Смородина лопалась на языке, истекая соком, и оказалась действительно сладкой. Совсем не такой, как в московских супермаркетах, а настоящей, с кислинкой в послевкусии.

– Спасибо, – сказала я. – Очень вкусно.

– А то! – Валентина Степановна подхватила ведро и зашагала по дороге. – Пошли, художница. Покажу тебе твоё

рабочее место.

Я пошла за ней, спотыкаясь о корни сосен, торчащие из земли. Босоножки скользили по песку. Чемоданы оттягивали руки. Мошкара ела заживо.

«Я в аду», – подумала я.

Школа оказалась бревенчатым зданием, выкрашенным когда-то в зелёный, а теперь она была цвета «облупившаяся надежда». Крыльцо покосилось, но ступени были крепкими. Над входом висела табличка: «Малососновская средняя общеобразовательная школа». Буквы выцвели, но читались. Я подумала, что «Малососновская» звучит как название санатория, где лечат нервы. Возможно, мне сюда и надо было – подлечить нервы. Или наоборот – окончательно их убить.

Внутри пахло выгоревшей на солнце краской, старыми учебниками и полевыми цветами. В коридоре, на подоконнике, стояла трёхлитровая банка с букетом ромашек – крупных, пышных, явно собранных сегодня утром. Этот букет был единственным, что напоминало здесь о красоте. О той красоте, которую я понимала. Остальное – облупившиеся стены, скрипучие половицы, выцветшие плакаты – было чужой, незнакомой мне эстетикой. Эстетикой выживания.

– Твой класс, – Валентина Степановна толкнула дверь в конце коридора. – Бывшая подсобка. Мы её под ИЗО приспособили, но нормального учителя всё не было. А теперь – есть. Надеюсь.

Я зашла. И застыла на пороге.

Комната была маленькой. Пять парт, исцарапанных несколькими поколениями детей – на одной я разглядела вырезанные ножом инициалы «П.Г. 2018», на другой – шариковую ручку, вдавленную в дерево так, что чернила въелись намертво. Стена с выцветшим плакатом Шишкина «Утро в сосновом лесу» – медведи на плакате были какого-то неестественно-жёлтого цвета, будто их разрисовали фломастером. Или будто они болели гепатитом. На подоконнике – банки с засохшей гуашью, кисти с торчащей щетиной, коробка сломанных цветных карандашей. В углу – рулон старых обоев.

– Это что? – спросила я, хотя ответ уже знала.

– Бумага для рисования, – пояснила Валентина Степановна. – Альбомы нам привозят раз в полгода, и то не всегда. А обои есть всегда. Дети на обратной стороне рисуют. Ничего, приспособились.

Я подошла к столу учителя. Стол был старый, с трещиной через всю столешницу, но крепкий. Я села на стул. Стул скрипнул, но выдержал. За окном, в палисаднике, качались на ветру георгины – оранжевые, алые, бордовые. Дальше – пыльная дорога, за ней – лес. Тёмный, густой, уходящий за горизонт. Я открыла окно. В класс влетел июльский зной, запах травы и стрекот кузнечиков. И тишина. Не московская тишина, пронизанная шумом машин и гулом метро, а настоящая, глубокая. Такая, в которой слышно собственное дыхание.

И я заплакала. Тихо. Без истерики. Просто слёзы покати-

лись по щекам, и я не стала их вытирать. Сидела за учительским столом в бывшей подсобке, смотрела на плакат с больными гепатитом медведями и плакала. Оплакивала Берлин, который не случится. Оплакивала выставку, на которую я не поеду. Оплакивала себя – ту, которая в мечтах уже построила карьеру и потеряла всё за один день.

– Ты как тут? – Валентина Степановна заглянула в дверь.

Я быстро вытерла глаза. Не хватало ещё, чтобы директор видела мои слёзы.

– Нормально. Изучаю класс.

– Ну-ну. – Она посмотрела на меня внимательно, но ничего не сказала. – Ты это... как устроишься, зайди ко мне. Поговорим про программу.

– Хорошо.

Она ушла. Я посидела ещё минуту, потом встала. Хватит. Слёзы делу не помогут. Я здесь. Я должна отработать три года – три бесконечных, чёртовых года, – и я сделаю это так, чтобы потом было что вспомнить. Или нет. Но выжить – обязательно.

Я вышла на крыльцо школы подышать. Солнце слепило. Пыльная дорога уходила вдаль, к сосновому лесу. Кузнечики стрекотали так, будто пытались перекричать друг друга. В палисаднике гудели шмели.

И тут я увидела его. По дороге, поднимая босыми ногами пыль, шёл мужчина. Широкие плечи, выгоревшая на солнце рубаха с закатанными до локтей рукавами, загорелые до чер-

ноты руки. В одной руке – топор, в другой – охапка свежесрезанных ивовых веток. За ним бежали две пушистые лайки с хитрющими мордами. А на плече у него сидел ворон.

Мужчина заметил меня и замедлил шаг. Оглядел меня без тени смущения, как оглядывают новую вещь, появившуюся в привычном пейзаже. Его взгляд задержался на моих босоножках. Потом поднялся выше – к сарафану, к лицу, к волосам, – и в этом взгляде я почувствовала что-то такое, отчего внутри вдруг стало жарко. Не от солнца. От него.

– Новая учителка? – спросил он.

Голос был низким, с хрипотцой. Таким голосом, наверное, хорошо петь у костра. Или отдавать команды собакам. Он не звучал враждебно. Но и дружелюбным не был. Скорее – настороженным.

Я выпрямилась. После всего, что случилось, я была не в настроении терпеть чьи-то насмешки.

– Я педагог-дизайнер, – сказала я с нажимом. – А вы, простите, кто?

Мужчина усмехнулся. Уголок губ дрогнул, и на секунду его обветренное лицо с резкими чертами и лёгкой небритостью показалось почти красивым.

– Лесник. Макар. – он перехватил ивовые ветки поудобнее, и я заметила, как двигаются мышцы на его предплечьях. – А вы с крыльца-то сойдите. Там сук торчит. Вся подошва порвётся вдрызг.

Я машинально шагнула в сторону. Глянула на босоножки.

Подошва на левой действительно была разодрана. Острый сук, торчащий из доски, оставил на коже глубокую царапину. Я и не заметила.

– Спасибо, – сказала я растерянно.

Но он уже не слушал. Кивнул, свистнул собакам и зашагал дальше. Лайки побежали за ним. Ворон каркнул что-то явно неодобрительное в мой адрес.

Я стояла на крыльце и смотрела ему вслед. Широкая спина, выгоревшая рубаха, загорелые икры. От него пахло травой и дымом – я уловила этот запах, когда он проходил мимо. Что-то в нём было... не московское. Не галерейное. Настоящее.

«Грубый мужлан, – подумала я. – Ладно, какая разница. Я здесь на три года. Не на всю жизнь». Я уже отвернулась, но что-то заставило меня обернуться. Ещё раз посмотрела вслед Макару, и отчего-то у меня вдруг ёкнуло сердце.

Я одёрнула себя. Что за чушь? Я художница, я педагог-дизайнер, я еду на Берлинскую биеннале. Точнее, уже не еду, но мне не до каких-то там лесников с воронами. Я здесь временно. На три года. На три бесконечных, чёртовых, невыносимых года.

Но вечером, лёжа на скрипучей кровати в своём домике, я думала не о Берлине. Я думала о его руках – загорелых, с длинными пальцами, которые держали топор так же легко, как я держу кисть. И о его голосе – низком, с хрипотцой.

«Грубый мужлан», – повторила я себе, натягивая одеяло

до подбородка. Но перед глазами стояли его плечи.

3

POV: Макар

Я увидел её впервые, когда автобус из райцентра подкатил к остановке у старой липы. Она вышла из этого автобуса, как выходят из такси в фильмах – спина прямая, подбородок высоко поднят. Белый сарафан – совсем не для нашей пыли. А ещё босоножки, в которых ходят только по асфальту. И лицо. Слишком красивое для Малых Сосен. Тонкое, с острыми скулами и бездонными глазами. У этой девушки даже взгляд был другой. Быстрый, оценивающий, немного испуганный. Хотя страх она изо всех сил пыталась спрятать. Она оглядела дорогу, покосившийся забор тётки Клавы, кур в лопухах. И на мгновение в её глазах мелькнул такой откровенный, чистый ужас, будто она не в деревню приехала, а высадилась на Марс без скафандра и теперь пытается понять, чем тут дышать.

Я усмехнулся и пошёл дальше. Новая учительница. Говорят, аж из Москвы. Прислали по распределению. Кто-то в районе наконец-то вспомнил, что школа без художника который год. Ну-ну. Посмотрим, на сколько её хватит. Обычно городских хватает до первой зимы. До первого снега, который заваливает дороги так, что ни проехать, ни пройти. До первой печки, которую надо топить, а она дымит, потому что дымоход не чищен. До первого утра, когда вода в ведре

замерзает, а удобства во дворе заметает по пояс. Городские этого не выдерживают. Они привыкли к батареям и горячей воде из крана, к доставке еды и к тому, что мир вращается вокруг них. А здесь мир вращается вокруг леса, погоды и скотины. И люди здесь – только часть этого круговорота, а не его центр.

Чуть позже я встретил её у школы. Она стояла на крыльце, смотрела на лес и, кажется, вообще не замечала ничего вокруг. Ни меня, ни ворона на моём плече, ни активных лаек Уголька и Дымку.

– Новая учителка? – спросил я, останавливаясь.

Голос прозвучал неожиданно грубо. Она повернулась. Медленно. Как будто делала мне одолжение. Посмотрела на меня с вызовом. Так смотрят люди, которые привыкли защищаться раньше, чем на них нападут. Я таких в городе много видел. Они все думают, что мир вокруг враждебный, и готовятся к бою, даже когда никто не собирается воевать. И эта была такая же. Я это сразу понял. По тому, как она вздёрнула подбородок. По тому, как на секунду её пальцы сжались в кулаки.

– Я педагог-дизайнер, – сказала она с нажимом. – А вы, простите?

Педагог-дизайнер. Я чуть не рассмеялся. Господи, кого ты нам послал. У нас тут тракторист Петрович с образованием в восемь классов, агрономша с незаконченным сельхозом, доярка Люська, которая за всю жизнь дальше райцентра не

выезжала, – и педагог-дизайнер. Интересно, она сама-то понимает, куда попала? Или всё ещё думает, что «Малые Сосны» – это такой арт-проект?

– Лесник. Макар, – сказал я и посоветовал ей уйти с крыльца.

Я пошёл дальше. Она всё ещё стояла на том же месте и смотрела мне вслед. Её белый сарафан словно сигналил: «Я здесь. Я чужая. Я не знаю, что делать».

«Городская, – подумал я. – Надолго ли?»

И зашагал дальше, к лесу. Туда, где всё было понятно.

Вечером я работал в мастерской. Мастерская – это слишком громко сказано, конечно. Так, пристройка к дому, бывшая летняя кухня, которую я переделал под свои нужды лет десять назад, когда понял, что места в доме для резьбы уже не хватает. Я работал над сложным орнаментом для дома тётки Клавы. Она просила ещё в прошлом году, но я всё тянул, не мог поймать настроение. А тут вдруг поймал. Руки двигались сами собой. Резчик с двадцатилетним стажем не думает о том, что делает. Он просто делает. Стамеска входит в дерево, стружка вьётся под пальцами, и постепенно из бесформенного куска проступает что-то осмысленное. Это похоже на медитацию.

Но сегодня медитация не получалась. Мысли сбивались. Я думал о ней. О том, как она стояла на крыльце и смотрела на лес. О том, как у неё вытянулось лицо, когда она увидела

разодранную подошву.

Городские. Сколько их тут перебывало за последние годы? Агроном из Новосибирска – продержался полгода, а потом запил и уехал, бросив хозяйство на полпути. Врач из Томска – молодая, энергичная, говорила, что хочет «спасать глубинку», – уехала через два месяца, сказала, что не может жить без нормальной канализации. Фельдшер из Екатеринбурга – этот продержался почти год, но потом плюнул и вернулся в город, оставив медпункт на попечение медсестры, которая сама была старше больницы. Все они приезжали с чувством превосходства. Все они смотрели на нас, как на дикарей, которые не видели нормальной жизни. И все они сбегали. Кто раньше, кто позже.

Эта продержится до первой зимы. Максимум, до второй. Но не дольше. Уж я-то знаю. Я одёрнул себя. Какое мне дело? Она чужая. Она здесь временно. Она уедет.

Но отделаться от мыслей не получалось. Я взял новую заготовку и начал резать. Просто чтобы занять руки. Просто чтобы не думать. Но руки, как всегда, думали за меня. Стамеска вошла в дерево, стружка завилась, и я вдруг понял, что режу женское лицо. Тонкие скулы. Острый подбородок. Её лицо.

Я выругался – громко, в полный голос. Кеша перестал чистить перья и уставился на меня. Потом переступил с лапы на лапу, наклонил голову и насмешливо каркнул. Он склонил голову набок и посмотрел на меня. В его взгляде читалось:

«Ты дурак, Макар Платов. Ты большой, огромный, непроходимый дурак. И я тебе сочувствую, но помочь не могу, потому что дураков не лечат».

Я и сам это знал.

4

POV: Лариса

Каждое моё утро начиналось с петуха. Если в первый день он меня раздражал, то сейчас я уже ненавидела эту птицу. Точнее, не просто ненавидела, а желала ему самой страшной смерти, самой изощренной казни. Мои нежные московские нервы и измученный недавними потрясениями мозг уже не выдерживали воплей этого наглеца.

Каждое утро, ровно в пять утра, он начинал орать. В пять утра! Боже, за что мне это? Дома я иногда в такое время только спать ложилась. А тут у меня персональный будильник в виде чёртовой птицы. Он не кукарекал, как нормальные петухи из детских книжек, а именно орал. С надрывом, с хрипом, с такой самоотверженной яростью, будто он не солнце встречал, а вызывал на бой всех окрестных демонов. Я лежала под марлевым пологом (спасибо Валентине Степановне, принесла на третий день, иначе комары сожрали бы меня заживо) и мечтала о том, чтобы кто-нибудь пришёл и... За полог, кстати отдельное спасибо Валентине Степановне. Комары жрали меня нещадно – никакие средства от них не помогали. А от петуха кто-нибудь меня мог избавить… Макар, например, у него же есть топор, Нет. Нельзя. Я не должна думать о Макаре. Тем более с топором.

Но я думала. Постоянно. С той самой первой встречи на

крыльце, когда он смотрел на меня оценивающе. Я тогда разозлилась. Вернее, попыталась разозлиться. Но на самом деле внутри всё сжалось от какого-то странного, незнакомого мне чувства. Нет, не от страха и не от отвращения. Скорее, от какого-то странного волнения. Как перед прыжком в воду, когда ты ещё не знаешь, холодная она или тёплая, но уже точно знаешь, что прыгнешь.

Я вспомнила его руки. Загорелые, с длинными пальцами, которые держали топор так же легко, как я держу кисть. И его плечи. И этот взгляд, будто он видел меня насквозь. И этот голос – низкий, с хрипотцой, от которого у меня внутри что-то вибрировало.

Так, стоп. Я одёрнула себя. Я художница. Я педагог-дизайнер. Я через год вернусь в Москву и забуду эти Малые Сосны как страшный сон. Ладно, не через год, а через три. Но какая разница? И этого лесника с его вороном и дурацкими замечаниями тоже забуду. Забуду, и всё.

Я вылезла из-под полога и подошла к умывальнику. В ведре плавал комар. Я выловила его и плеснула водой в лицо из колодца. Да, я наконец-то победила колодец и научилась открывать его без посторонней помощи. Прохладная вода немного привела меня в чувство. Я глянула в зеркало: волосы растрёпаны, под глазами круги, на щеке – след от комариного укуса. Красавица. Педагог-дизайнер. Берлин рыдает.

Я надела своё любимое ситцевое платье в горошек и вышла на крыльцо. Солнце уже жарило вовсю, хотя было всего

семь утра. Кузнечики стрекотали. Куры рылись в пыли. Деревенская идиллия, к которой я начинала привыкать.

Урок должен был начаться в девять. Я шла в школу по пыльной дороге, мимо покосившихся заборов и палисадников с георгинами, и репетировала свою речь. Кубизм. Пикассо. Деконструкция формы. Я ведь действительно хотела дать им что-то настоящее. Что-то, что откроет им глаза. Они, может быть, никогда не были в музее. Но это не значит, что они не способны понять великое искусство. Я сама когда-то была девочкой из спального района столицы, которая не знала никого из художников, кроме Шишкина и Айвазовского, и ничего, выросла, выучилась. И они смогут.

В классе сидело двенадцать человек. Разновозрастные – с пятого по седьмой класс, в деревне всех объединили в одну группу, потому что школа маленькая, учителей не хватает. Они сидели за исцарапанными партами и смотрели на меня с любопытством, настороженностью и с откровенным скепсисом. Особенно один. Тощий, конопатый, с ободранными коленками и хитрым прищуром. Я его запомнила сразу.

– Здравствуйте, – сказала я, вставая перед ними с планшетом в руках. – Меня зовут Лариса Андреевна. Я ваш новый учитель рисования.

– ИЗО, – поправил кто-то с задней парты. Тот самый, конопатый.

– Да, ИЗО. Сегодня мы с вами поговорим об одном из самых интересных направлений в искусстве двадцатого века.

О кубизме.

Я включила планшет и показала репродукции. Пикассо. «Авиньонские девицы». «Герника». «Портрет Доры Маар». На последней я остановилась: Дора сидит в кресле, её лицо разбито на геометрические плоскости, глаз смещён, нос перекошен. Это была одна из моих любимых работ.

– Кубизм – это направление, в котором художник разбивает форму на геометрические составляющие. Мы видим объект одновременно с разных сторон. Это позволяет показать не внешность, а суть. Понимаете?

Дети молчали. Кто-то хихикнул. Кажется, девочка с первой парты, та, что с косичками. Конопатый поднял руку. Я тут же почувствовала неладное, но выбора не было.

– Да? Напомни, пожалуйста, как тебя зовут?

– Петька. – он шмыгнул носом. – А чё это у тёти глаз на щеке? Её пчела в глаз укусила?

Класс взорвался хохотом. Я стояла, чувствуя, как краска заливает щёки. Не только щёки, я покраснела от шеи до корней волос, и при этом пыталась сохранить лицо. Педагог-дизайнер. Ха. Ха-ха. Ха-ха-ха.

– Это такой художественный приём, – сказала я, и голос прозвучал жалко, даже для меня самой. – Авангард. Деконструкция. Художник хотел показать не внешность, а суть.

– А, суть, – протянул Петька. – Лариса Андреевна, а можно мы просто цветочки нарисуем? Мамке на день рождения. У неё он завтра.

Я открыла рот, чтобы возразить. Но перед эти ещё раз оглядела класс. Дети смотрели на меня. Они – не злые, не глупые, просто другие. Они не видели Пикассо. Не слышали о кубизме. Не понимали, зачем рисовать глаз на щеке, если можно нарисовать глаз на месте глаза. Они жили в мире, где красота – цветочек на обоях, а не «деконструкция формы». И, может быть, в этом была своя правда.

– Хорошо, – сказала дрогнувшим голосом. – Давайте нарисуем цветочки.

Я раздала листы, нарезанные из старых обоев. И весь следующий час мы рисовали. Петька вывел красным карандашом целый букет тюльпанов. Над техникой ему, конечно, ещё работать и работать. Но получилось вполне сносно. Удивительно даже. Девочка с косичками старательно вырисовывала ромашку. Два пацана на задней парте рисовали танки. Что ж, кому-то и танки надо рисовать. Не всем же – цветочки. В конце концов, у каждого своё видение прекрасного.

После урока я вышла в коридор. Села на широкий подоконник. Сначала долго-долго рассматривала трещину на стекле, а потом тихонечко, сквозь зубы, выругалась матом. Таким, какому меня научил один скульптор на втором курсе. Он считал, что мат – это тоже искусство, если использовать его правильно. Сейчас я использовала его виртуозно.

– Ну как? – раздался голос за спиной.

Я вздрогнула и обернулась. Валентина Степановна стояла в дверях, скрестив руки на груди. В её глазах плясали чёр-

тики. Она явно слышала мою тихую виртуозную тираду.

– Провал, – призналась я честно. – Полный провал. Они не поняли ни слова из того, что я рассказывала.

– А ты что хотела? – Директор подошла и села рядом. Подоконник жалобно скрипнул. – Они Пикассо твоего отродясь не видели. Ты им про то, что вокруг них, расскажи. Про лес. Про речку. Про цветы. А там, глядишь, детишки наши и до Пикассо дорастут. Они способные.

– Я хотела открыть им глаза.

– Открывай. Только не сразу на Пикассо. Давай открой сначала на красоту, которая тут, рядом. – она помолчала. – Знаешь, Лариса, я тридцать лет в школе работаю. И видела много таких, как ты. Молодых, горячих, которые хотят всё изменить. И все они начинали с того, что пытались учить детей тому, что детям совершенно не нужно. А потом понимали: нужно учить тому, что детям близко. И когда они это понимали – тогда и начиналась настоящая работа. Ты попробуй. Лес, речка, поле. Начни с этого. А там посмотрим.

Я кивнула. Спорить не было сил. Да и, честно говоря, она была права. Я это и сама прекрасно понимала, но мне было обидно. Обидно, что мои пять лет в академии здесь никому не нужны. Обидно, что мимо Берлина так по глупому пролетела. Обидно, что я тут торчу, в этой глуши, и не знаю, что делать дальше.

Я нехотя плелась туда, что теперь именовалось моим домом. Зашала во двор и увидела цветы. На крыльце лежал бу-

кет полевых ромашек, перевязанный простой травинкой. Без записки. Без подписи. Просто цветы.

Я замерла, а потом оглянулась вокруг. Никого не было. Только хромой ворон с подбитым крылом ходил по забору и смотрел на меня так, будто он тут хозяин. Я уже знала, что птицу зовут Кеша. Петька успел рассказать на уроке. И знала, что это ворон Макара. Значит...

Нет. Не может быть. Зачем леснику, который смотрит на меня как на пустое место, оставлять мне цветы? Но я всё равно забрала их. Поставила в банку из-под мёда. И улыбнулась. Впервые за эту дурацкую неделю – не через силу, не сквозь слёзы. По-настоящему.

5

POV: Макар

Прошла две недели с момента появления педагога-дизайнера в нашей деревне. Или больше. Я не считал дни. В лесу время течёт иначе: оно меряется не числами, а рассветами и закатами, длиной теней, запахом ветра. Но эти две с лишним недели я запомнил. Каждый день. Каждый вечер. Потому что каждый день я видел её, Ларису.

Нет, я не следил за ней. Не подглядывал. Просто случайно как-то так выходило, что наши пути постоянно пересекались. То я шёл мимо школы, когда она вела детей на пленэр. Лариса, оказывается, умеет слушать других. Прямо удивительная черта для городской! Она всё-таки прислушалась к советам Валентины Степановны и начала выводить ребят на улицу, чтоб они рисовали с натуры. То она проходила мимо моей избушки, когда я работал во дворе. То мы сталкивались у сельпо – она покупала хлеб и молоко, а я брал соль и спички. Мы не разговаривали. Только сухо и сдержанно кивали друг другу. Но каждый раз, когда Лариса оказывалась неподалёку, я чувствовал её присутствие кожей.

Я видел, как она мучилась с колодцем. В первое утро она уронила ведро. Я слышал всплеск и её сдавленный стон. Выглянул из-за забора: она стояла у колодца, вцепившись в край обеими руками, и смотрела в тёмную глубину с таким

отчаянием, будто ведро было не ведром, а её последней надеждой. Я мог бы подойти, помочь. Но не стал. Подумал: если я начну помогать, я начну привязываться. А привязываться к тем, кто уедет – последнее дело. Я уже проходил через это. Дед покойный – тоже. Не хочу снова через это проходить. Соседка потом рассказала, что Лариса достала ведро сама. Она в красках расписала мокрую и злую учителку. А внутри меня в тот момент зародилось что-то очень похожее на уважение.

Я видел, как она красила забор. Валентина Степановна, видно, решила, что если уж в школе появился художник, то художник должен красить всё. В том числе и штакетник вокруг палисадника. Лариса красила четыре часа. Солнце жгло ей плечи – она сгорела, кожа на носу облезла. Мошкара ела лицо. Краска – ядовито-зелёная, масляная, – попала ей на волосы, на платье, на руки. К концу покраски она была зелёной с ног до головы, как леший, и смотрела на результат с такой смесью гордости и ненависти, что я чуть не рассмеялся. Но опять промолчал. Опять прошёл мимо.

Я видел, как Лариса ходила в лес. Каждый вечер, когда спадала жара, она уходила за околицу и бродила между сосен. Иногда садилась с альбомом на пень и и рисовала. Иногда просто смотрела на деревья, на небо, на закат. И лицо у неё в эти моменты было совершенно другое. Не испуганное. Не надменное. Спокойное и. почти счастливое.

Однажды я подошёл ближе и заглянул через плечо. Она

рисовала старую сосну. Кривую, сломанную бурей, но всё ещё живую. Рисунок был хорош. Не просто красиво. Не просто технично. Она видела дерево так же, как и я. По-настоящему. Его боль, его силу, его жизнь. Я не ожидал. Думал, городская художница рисует только абстракции, кубизмы и авангардизмы. А тут она живое нарисовала.

Нужно было срочно перестать думать о ней. Потому что я начинал привязываться к Ларисе. И это мне совершенно не нравилось.

– Она спрашивала про тебя.

Я чуть не поперхнулся чаем. Мы сидели на кухне у Валентины Степановны. Я починил дверь в сарае, а она угостила ужином. Директор школы была единственным человеком в деревне, с которым можно было нормально поговорить. Она не сплетничала, не осуждала, не давала советов, если её не просили. Просто говорила то, что думала.

– Кто? – спросил я, хотя и так уже знал ответ.

– Лариса Андреевна. Новая учительница. Подошла вчера после уроков и спрашивает: «А кто такой Макар Платов? Чем занимается? Почему живёт один в лесу?»

– И что ты сказала? – я отставил кружку, пить чай как-то перехотелось.

– Правду. Лесник. Резчик. Дровосек. Хороший мужик, только нелюдимый. Живёт один, потому что людей не любит. – Валентина Степановна усмехнулась. – Она покивала

и ушла. Но я видела, как она на тебя смотрит.

– Как?

– Как на что-то непонятное, но ужасно интересное. Как на картину, которую она хочет понять, но пока не может. – директор помолчала и продолжила. – Ты бы поговорил с ней как-нибудь, Макар. Она не такая, как те, другие.

– Все они не такие, – сказал я. – Пока не уедут.

– Эта не уедет.

– Почему ты так думаешь?

Валентина Степановна допила чай и поднялась из-за стола.

– Потому что она уже начала рисовать лес. И потому что она спросила про тебя. Запомни, Макар: городские, которые собираются сбежать, не спрашивают про местных. Им всё равно. А эта спросила. Значит, ей не всё равно.

Она ушла в дом, оставив меня одного на кухне. Я сидел и смотрел в окно. За ним темнело. Где-то далеко лаяли Уголёк и Дымка. Почему-то они всегда лаяли на закате. И я думал о том, что сказала директор.

«Эта не уедет». Я не верил, хотя и очень хотелось.

Через пару дней ко мне прибежал Петька Глухарь. Тощий конопатый пацан с вечно ободранными коленками и такой же вечно растрёпанной головой, похожей на воронье гнездо. Он частенько прибегал ко мне в мастерскую то за советом, то просто поглазеть. Я любил его как младшего брата, которого у меня никогда не было.

– Она нам про кубизм рассказывала! – выпалил Петька, врываясь в мастерскую. – Про Пикассо! Там тётя с глазом на щеке! Я спросил: «Её пчела в глаз укусила?» А она обиделась!

– Обиделась? – переспросил я.

– Ну, не то, чтобы обиделась… Она покраснела и сказала, что это художественный приём. А потом вздохнула и разрешила нам просто цветочки нарисовать. Мы целый урок рисовали цветочки. Я нарисовал мамке тюльпан.

Я усмехнулся, представив себе эту картину. Она стоит перед классом и пытается объяснить детям, что такое кубизм. Детям, которые никогда не были в музее и не видели ни одной картины, кроме плаката Шишкина в классе. Очень удивительно, что эта московская художница сдалась на первом же уроке. Обычно городские подольше кочевряжатся. А эта не стала спорить, не стала настаивать. Просто разрешила цветочки рисовать и вздыхала. Интересно.

– А она вам понравилась? – спросил я как можно равнодушнее.

Петька задумался. С ним это бывало редко. Обычно он сначала говорил, потом думал. Но сейчас он действительно задумался, сморщив конопатый нос.

– Ну, она красивая. Очень. У нас таких не бывает. И пахнет хорошо. Не как у наши мамки. Цветами, что ли. Или духами. Или как в аптеке, но лучше. Но строгая очень. И уроки какие-то скучные. Хотя она сказала, что мы можем рисо-

вать не только цветочки. Что она ещё чему-то нас научит. Чему-то интересному.

– Чему?

– Не знаю. Она не сказала. Но сказала, что искусство можно развивать везде. Даже у нас. Представляешь, дядь Макар? Даже у нас! Как будто мы на Луне живём.

Я хмыкнул. Может, эта городская – нормальный человек?

– А ты, дядь Макар, будешь нас учить? – Петька переключился мгновенно, как он всегда делал. – Как в прошлом году? Свистульки вырезать? И из коры рисовать? Мне так понравилось! Я мамке свистульку сделал, она сказала, что я теперь настоящий мастер.

– Буду, – сказал я. – На следующей неделе. Приходите на поляну в четверг.

Петька просиял и убежал – так же стремительно, как ворвался. А я остался стоять посреди мастерской с недорезанным наличником в руках и мыслями о педагоге-дизайнере.

Значит, учительница – красивая, пахнет хорошо и считает, что искусство можно развивать даже в Малых Соснах. Посмотрим, педагог-дизайнер. Посмотрим, на что же ты способна.

6

POV: Лариса

Прошло две недели. За это время я так и не смогла привыкнуть к тишине. Московская тишина совсем другая – приглушённый шум машин за окном, гул лифта, далёкие голоса соседей. А тут по ночам собственное дыхание и биение сердца кажутся нереально громкими в этой самой настоящей тишине.

Я стояла у окна своего домика и смотрела на закат. Солнце садилось за соснами, окрашивая небо в такие цвета, каких я никогда не видела в Москве. Нежно-розовый, золотой, сиреневый. Такие закаты надо на картинах писать. В городе они совершенно другие, и их толком не рассмотреть из-за многоэтажек, проводов и бесконечной рекламы. Здесь же нереально фантастический закат купол накрывал абсолютно всё – лес, поле, деревню, меня. Но именно здесь я впервые почувствовала себя крошечной частью чего-то огромного. В столице такого ощущения никогда не было.

За две недели многое изменилось. Я привыкла к ору петуха. Кричал он всё так же, отвратительно, но мне уже всё равно. Иногда мне казалось, если однажды утром он не заорёт, я проснусь от тишины и испугаюсь. Перестала спотыкаться о корни сосен по пути к колодцу. Перестала путать крапиву с мятой. И ещё я перестала думать о Берлине. Нет,

не так. Я всё ещё думала о нём, но теперь эти мысли были похожи на воспоминания о чём-то далёком и неважном. Как будто Берлин был не главной моей целью в жизни, а просто несбыточной мечтой. Красивой картинкой, которая поблекла и выцвела на солнце.

Гораздо больше я думала о другом. О Макаре. О том, как он смотрел на меня. О его скупой улыбке, от которой у меня внутри всё переворачивалось. О цветах на моем крыльце. Букеты, кстати, появлялись ещё пару раз. Я до сих пор не знала точно, он ли это сделал, но больше было некому. Никто другой в этой деревне не стал бы оставлять цветы без записки.

О его руках. Загорелых, с длинными пальцами и въевшейся древесной пылью, которые держали топор так же легко, как я держу кисть. О его низком голосе с хрипотцой. О том, как он поправлял пальцы девочки с косичками на уроке резьбы. Да, я подсматривала за ним. И почему-то мне ни разу не стыдно.

Я думала о нём постоянно. И это меня пугало. Я не должна была. Ведь это всё временно. Отработаю, вернусь в Москву и забуду Малые Сосны, как страшный сон. У меня была и совершенно другая жизнь, в которой нет места угрюмому леснику с вороном на плече.

Но сердце, как выяснилось, не спрашивает разрешения.

Сегодня был особенно душный день. Я провела два урока. Теперь мы с детьми рисовали на пленэре. Петька опять отли-

чился, изобразив птицу максимально реалистично. «Макар научил», – сказал он, и я сжала губы, стараясь не показать, как меня задевают эти слова. Макар учил их тому, чему я не могла научить. Он знал лес изнутри, а я – нет. Он умел объяснить, как рисовать глухаря с хвоста, а я могла только анализировать композицию. И дети это чувствовали. И я это чувствовала.

К вечеру духота стала невыносимой. Ноги сами понесли меня в лес. Туда, где было прохладнее и пахло хвоей, влажной землёй и грибами. Туда, где можно было побыть одной и подумать.

Лес встретил меня тишиной. Настоящей, глубокой, как колодец. Я шла по тропинке, которая начиналась сразу за околицей, ныряла под сосны и терялась в зелёном полумраке. Ветки цеплялись за подол моего ситцевого платья. Под ногами пружинил мох. Где-то далеко стучал дятел. Где-то ещё дальше журчал ручей.

Я не заметила, как забрела дальше обычного. Просто одна тропинка незаметно перетекла в другую, папоротники сомкнулись за спиной, и вдруг деревья расступились, открывая поляну.

И я замерла. Передо мной стоял дом. Нет, не дом, а самый настоящий терем. Такие рисуют в книжках. Бревенчатая изба, с высокой крышей, с резным коньком. Окна обрамлены наличниками такой красоты, что я забыла, как дышать. Листья, цветы, какие-то невиданные травы оплетали окон-

ные проёмы, поднимались к крыше, расходились кружевом по карнизу. Птицы, вырезанные из дерева, сидели на ставнях настороженные, живые, будто готовые сорваться в полёт. На перилах крыльца притаилась деревянная сова. У калитки сидел медведь, вырезанный из цельного ствола: косолапый, добродушный, с бочонком мёда в лапах.

Я стояла и не могла двинуться. Это было что-то невероятное. Я видела резьбу по дереву в этнографических музеях, видела в галереях наивного искусства, видела на выставках народных промыслов. Но это было другое. Здесь всё было живое. Дерево дышало. Оно рассказывало историю не словами, но формой, линией, тенью, которая падала от резных завитков на тёплые брёвна. Я почувствовала, как к глазам подступают слёзы от восторга, от непонимания, от почти ярости. Кто здесь скрывает такой талант? Кто это сделал? Почему я не знаю? Почему об этом не знает никто?

Дверь избы отворилась. На пороге стоял мужчина. Широкие плечи, выгоревшая на солнце рубаха, загорелые до черноты руки. В одной руке он держал топор, а в другой – деревянную заготовку. На плече у него сидел хромой ворон, который тут же уставился на меня с видом судьи, выносящего приговор.

Макар. Я узнала его сразу. Но здесь, в лесной чаще он был совершенно другим, хозяином, творцом. Человеком, который создал всё это.

Он заметил меня и нахмурился.

– Заблудилась, учительница? От деревни на километр всего отошла. Но для городских это, видать, тайга непроходимая.

Я не слышала насмешки. Я ничего не слышала. Я, как зачарованная, подошла ближе и коснулась наличника пальцами. Дерево было тёплым от солнца. Оно хранило тепло дня и отдавало его сейчас, на закате. Мои пальцы скользнули по выемкам и завиткам. Это было не просто ремесло. Это было искусство. Настоящее и живое. То, которому меня никогда не учили.

– Это... – голос сорвался. – Это вы сделали?!

– Я, – сказал Макар. Пожал плечами. – А чё такого-то?

Вот тут я и взорвалась. Не знаю, что именно стало спусковым крючком. Может быть, этот пренебрежительный тон. Может быть, это «чё такого-то». Может быть, две недели подавляемых эмоций, которые наконец нашли выход. А может быть, просто осознание того, что я стою перед шедевром, а его создатель смотрит на меня так, будто я спрашиваю его о погоде.

– Как «чё такого»?! – голос взлетел почти до крика. – Это же шедевр! Это музейный уровень! Вы понимаете, что с вашими руками можно выставляться? Продавать? За такие работы в Москве платят сотни тысяч! Евро! Тысячи евро! А вы тут... в лесу... с топором...

Он спокойно слушал меня, скрестив руки на груди. И в его молчании было что-то такое, от чего мой гнев вдруг по-

казался мне глупым. Неуместным. Детским.

– Ты, учительница, всё про деньги да про Москву, – сказал он наконец ровным, с хрипотцой, голосом. – А наличник нужен, что глаз радовать. И чтоб дом живым был. Дерево, оно дышит. Если его с любовью резать, так оно тебе сотни лет служить будет и тепло хранить. А если ради денег – в мёртвое всё превратится, хоть золотом покрой.

– Но это же можно показывать миру! – я шагнула к нему. – Этому всему место в галерее! Люди должны увидеть! Вы не понимаете своего таланта!

– Моего таланта? – он усмехнулся, и усмешка получилась горькой. – Талант, он не для галерей, учительница. Он для жизни. Продавать? Кому? Зачем? У меня хозяйство, лес, собаки. Для местных режу, из соседских деревень иногда приезжают. Мне хватает.

– Хватает?! – я уже кричала. – Ты просто боишься! Боишься, что твои работы увидят настоящие критики и скажут, что это примитив! Что это народное ремесло, а не искусство! Боишься, что тебя отвергнут! Поэтому прячешься в лесу, как...

Я осеклась. Макар выпрямился, и его лицо потемнело, а на скулах заиграли желваки. Ворон на плече тревожно каркнул.

– Как кто? – спросил он как-то слишком тихо. – Как бирюк? Как дикарь, который в Москве не был и Пикассо твоего не видел?

– Я не это имела в виду...

– Ты именно это и имела в виду. – он шагнул ко мне, и я невольно попятилась. – Ты, городская, приехала сюда и думаешь, что мы тут – быдло неотёсанное. Что мы в своём лесу сидим и света белого не видим. А я тебе так скажу: я в Москве был. И в галереях твоих был. И видел я это искусство твоё современное. Глаз на щеке. Квадрат чёрный. Битое стекло на полу. И знаешь, что я понял? Что мёртвое оно. Холодное. Как пластик. А дерево – оно живое. Ты вот трогала наличник и почувствовала. А теперь скажи мне, художница: ты сама-то хоть раз вот такое же живое искусство в руках держала? Сама создала что-то подобное? Или только про концепции свои рассказывать умеешь?

Удар попал в цель. Я стояла, открыв рот, и чувствовала, как земля уходит из-под ног. Никто и никогда не говорил со мной так. В академии меня хвалили. В галереях мне улыбались. Марк называл меня «подающим надежды художником». А этот дровосек с топором сейчас размазал меня по бревенчатой стене, и я не знала, что ответить. Но, оказывается, он ещё не закончил. Он шагнул ближе и зло произнёс:

– Ты тут никто, учителка. Приехала по распределению, покомандуешь и уедешь. Через год, два, три. Неважно через сколько, всё равно ведь уедешь. А мы тут живём. Это наш дом. И не тебе, временной, мне указывать, что с моими работами делать.

Я задохнулась. «Временная». «Никто». «Покомандуешь и

уедешь». Каждое слово било наотмашь, и от каждого внутри что-то сжималось. Не только от обиды – от правды. Потому что в его словах была правда. Я действительно здесь временно. Я действительно приехала не по своей воле. И я действительно не имела права ему указывать. Но промолчать и не ответить я не смогла.

– Я никто? – повторила я, и голос предательски дрогнул. – Я, значит, никто? А ты кто? Лесник, который прячется в своей берлоге и боится выйти к людям? Который создаёт шедевры и хоронит их в лесу? Да ты не лесник. Ты...

– Договаривай, – сказал он. Глаза сузились. – Давай. Что я?

– Трус, – выдохнула я.

Вот теперь тишина стала звенящей. Макар смотрел на меня ледяным взглядом.

– Иди отсюда, – медленно произнёс он. – Иди. Пока я тебе ещё чего не сказал.

– Макар...

– Иди! – рявкнул он.

Я отступила. Развернулась и быстро, почти бегом пошла, чувствуя, как слёзы текут по щекам. За спиной хлопнула дверь. Я не обернулась. Не могла. Меня трясло от своих слов и от его.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.